

Ольга
Славникова

Ольга
Славникова

Прыжок
в длину

Роман



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С47

Художник *Андрей Рыбаков*

Славникова, Ольга Александровна.
С47 Прыжок в длину : роман / Ольга Славникова. —
Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. — 510, [2] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-104172-4

«Прыжок в длину» — новый роман Ольги Славниковой, известного прозаика, лауреата премии «Русский Букер».

Олег Веденников заканчивает школу и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен способностью к краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок — выталкивает из-под колес летящего джипа соседского мальчика и... лишается обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104172-4

© Славникова О.А., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

I

В те давние времена, когда Олег Ведерников был восходящей звездой российской легкой атлетики (и когда у него, берущего разбег на дорожке прыжкового сектора, действительно будто бы горела во лбу белая влажная звезда), рост его равнялся одному метру восемидесяти двум сантиметрам. Вот уже четырнадцать лет у него вообще нет роста — в обычном, человеческом понимании этого слова. Сверху Ведерников целый и даже как будто живой; внизу он словно растворяется в пространстве, исчезает, как исчезает, превращается в облачко, не достигнув тверди, слабая струйка песка. Словно кто спускает Ведерникова из горсти, развеивая по ветру. Правая нога (толчковая) у него ампутирована выше колена, левая (маховая) — по щиколотку.

Теперь Ведерников существует словно бы в воздухе, без прямоходящего контакта с земной поверхностью. В детстве, когда он рос, он летал во сне: мощно отталкивался от края какой-то туманной, с синими стенами пропасти, черпал воздух емкими крыльями, чувствовал напряженным пером упругость восходящих воз-

душных потоков. Под ним расстилалась сизая, еловая, горная местность с удивительной, мягчайшей чертой горизонта — за которой таяла, все не могла растаять призрачная вершина, состоявшая как будто из того же космического снега, что и висевший над нею в дневной синеве ломтик луны. Во сне Ведерников всем существом стремился туда — и работал не столько крыльями, сколько неким внутренним, не известным науке органом: какая-то силовая паутина в животе, способная напрямую взаимодействовать с пространством.

Просыпаясь по утрам, Ведерников первым делом чувствовал, что эта паутина еще не успокоилась. Она трепыхалась, отдавала в ноги, заставляла, кое-как покидав учебники в рюкзак, бежать бегом, хотя до начала уроков оставалась уйма времени; она подмывала с разбега перемахивать через обширные, величаво разлегшиеся лужи, а зимой забираться на козырьки подъездов, чтобы прыгать с них в опасные сугробы, скрывавшие под нежной порошкой твердые, как бетон, обломки слежавшегося снега, а то и куски арматуры. И все для того, чтобы в воздухе испытать ликующий толчок — безо всякой опоры еще вперед и вверх, и зависнуть при помощи живота, как в остановленном кино.

Впоследствии оказалось, что силовая паутина в животе есть не у всех. Первым особенности Ведерникова заметил не физрук, чьи водянистые глаза-пузыри видели только толстых девочек в тугих трико, а учитель физики Ван-Ваныч, наблюдавший за скаканиями Ведерникова с величайшим удивлением, собрав лоб горкой. Был Ван-Ваныч тощий, нескладный, с неодинаковыми ломанными бровями и большим кадыком, похожим на

древесный гриб: из тех неспортивных людей, что физиологически боятся летящего мяча. Но у Ван-Ваныча имелась мать — бывшая балерина, и от нее наблюдательный физик знал про загадочное явление, которое у балетных называется «баллон». Эта важная, слегка оскаленная мумия два раза приходила в школу и очень уговаривала Ведерникова заниматься у нее в балетном классе. Но Ведерников не хотел танцевать, он хотел прыгать. Тогда, хлопотами Ван-Ваныча, Ведерников оказался в школе олимпийского резерва, куда надо было ездить сначала на метро, а потом на медленном, как корова, троллейбусе пять остановок.

* * *

У Ведерникова началась совершенно другая жизнь, главным человеком в ней стал тренер Александр Грошин, он же дядя Саня: на вид добродушный, большой, покатый, с коричневой печеною лысиной и черной шерстью на груди, где запутался, будто комар, мелкий православный крест. На самом деле тренер был жесткий мужик: не спускал ни лени, ни нарушения режима, провинившихся отправлял с тренировки работать на школьную кухню, где приходилось до ряби в глазах drainty кафельные, в мелкую шашечку полы и чистить целые горы черных дряблых овощей. Ведерников, которому обычно доставалось отмывать поросшую жирной коростой чугунную плиту, долго считал, что дядя Саня ненавидит его лично: за то, что явился в середине года, за опоздания, происходившие зимой по причине поломки троллейбусов, стоявших иногда целыми погромчими стадами в метельном дыму, уронив на спины бессильные рога. Но однажды Ведерников вдруг уви-

дал глаза дяди Сани, какими он наблюдал за его, Ведерникова, растопыренным полетом над скособоченным матом: глаза эти, обычно тусклые, сияли промытой синевой и были исполнены какого-то нежного удивления, несмелого вопроса. Ведерников так опешил, что даже пропустил момент, когда надо было подвытянуться в воздухе, и плюхнулся на вялый мат, точно его снизу дернули.

С той тренировки дела у Ведерникова пошли иначе. Откуда-то он понимал, что несмелый вопрос дяди Сани был адресован высшей инстанции, вроде как судьбе — но дяде Сане почему-то не дано обратиться туда напрямую. Задачей Ведерникова стало — получить ответ. Тогда он сам начал разбираться со своей дурной и шалой, во все стороны направленной энергией, заставлявшей его скакать, орать, лазать на толстую, как снежная баба, под самыми окнами учительской росшую березу, совершать другие бессмысленные подвиги — в общем, вести себя как полный придурок. Постепенно он привык собирать себя на дорожке в линию, научился рассчитывать разбег — как бы отделять от себя другого, призрачного Ведерникова и пускать его задом наперед от доски отталкивания до старта, мышцами запоминая порядок подлетающих, как на Луне, замедленных шагов.

Однако сам полет над прыжковой ямой, изрытой, будто снарядами, нетерпеливыми попытками Ведерникова, оставался в ведении той самой судьбы, что упорно держалась на расстоянии в восемь метров, не подпускала ближе. Восьмиметровая отметка, до которой можно было запросто дошагать по земле, уходила во время прыжка словно бы в иное измерение, мерцала оттуда призрачной чертой над рыжим песком. Ве-

дерников упорно, по сантиметру приближался к недостижимому: 7.73, 7.78, 7.81 — но между ним и решающим результатом по-прежнему лежала его личная, обманчиво трехмерная бесконечность. Мировой рекорд составлял восемь метров девяносто пять сантиметров и принадлежал американцу Майку Пауэллу, великолепному, словно из темной резины отлитому атлету. Дядя Саня множество раз крутил для своих юниоров запись рекорда: там, перед стартом, Пауэлл отдувался и рычал, пористое лицо его было как порох, который вот-вот вспыхнет. И ясно улавливался момент, когда американец, оттолкнувшись и пробежав мощными, нечеловески длинными ногами по воздуху, сложился и завис, словно ему удалось вскочить на невидимую лошадь.

7.86, 7.88, 7.91 — где-то на этих отметках нечувствительно прошли, будто пейзаж за окном поезда, выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в Академию физкультуры и спорта. Приближался первый в жизни Ведерникова чемпионат Европы, и дядя Саня, передав остальных юниоров суетливому помощнику, жестко сосредоточился на своей главной надежде, не оставляя Ведерникову ни сантиметра личного пространства. Между тем наступил апрель, воздух тревожно забродил, капель бурлила, как кипяток, все гремело, сверкало, соседская девчонка Лариска бегала в новой красной куртке — и отчего-то Ведерников страшно смущался, когда сталкивался с ней, неожиданно рослой, в зеркальном лифте. В случайные прорехи расписания тянуло открытым пространством, какой-то новой свободой. Вдруг Ведерникова стала интересовать собственная внешность. Раньше он видел себя в зеркале мельком, точно был сам себе случайный

знакомый, а теперь, злостно занимая по утрам ванную комнату, подолгу всматривался в свое худое угловатое лицо, на котором смаргивали невыразительные, ржавого цвета глаза. Под большим треугольником носа темнел неаккуратный след усов, точно ластиком стерли карандаш, — и было все еще непривычно бриться, выглаживать кожу опасным агрегатом, жужжащим, как осиное гнездо. А то ему воображалось, будто в зеркале за его спиной возникает, как вот в рекламах мужских лосьонов, красивая и взрослая Лариска, будто она обнимает его белыми, тающими от белизны и нежности руками и кладет большую мягкую прическу ему на плечо.

Той же весной кто-то в окрестностях развлекался тем, что отстригал лапы голубям. Ведерников не раз наблюдал, как истощенная птица пыталась сесть на свои воспаленные красные спички, на которых иногда болталась заскорузлая ловчая нитка, похожая на засохший кровеносный сосуд. Птица бултыхалась в воздухе, точно тонула, ее несвежее перо отливало селедкой. Таких инвалидов было видно издалека, они выделялись в голубиной стае, слетевшейся на крошки и семечки, будто клочья ваты, выдранные из одеяла. Кто-то неустанно трудился, делая из голубей чистых обитателей воздуха, безумных ангелов, не касающихся тверди. Может, то было предупреждение Ведерникову лично от сил судьбы, вселившихся в какого-нибудь прогорклого алкаша или в маменькиного сыночка с умильными глазками, с портновскими липкими ножницами в школьном рюкзаке. Хотя на самом деле судьба никого ни о чем не предупреждает, а делает свое дело резко: была одна жизнь, и сразу стала другая, вот и все.

* * *

В своих нынешних снах Ведерников тоже летает, но совсем по-другому. Теперь он превращается в рыбу и вяло шевелится в густой тяжелой толще, под ним колышутся темные растительные массы, мертвое белеют песчаные зыби, смутно рисуются покрытые коростой и хлопьями корабельные обломки, среди них затонувший танк, похожий на стриженый куст. Ведерникова изнурает медлительная правдоподобность этого сна. Иногда он видит, как его неодинаковые культи срастаются в мускулистый и холодный рыбий хвост, чувствует на себе тугую, скрежещущую чешую, видит хвостовой плавник, реющий наподобие истрепанного флага над студенистой бездной. Во сне Олег твердо знает: местности, что под ним, наяву не существует.

* * *

Можно ли жить сожалением, как вот другие живут амбициями, или жаждой денег, или любовью? Это все равно что вместо хлеба питаться водкой. Ведерников не пьет, пробовал — не получилось: похмелье наступало у него не на другое утро, как у людей, а буквально через полчаса после первого стакана, голова его напоминала колбу, в которой проводится болезненный и едкий химический опыт. Это спасло Ведерникова от простого человеческого распада, но подвергло, как он постепенно понял, распаду худшему: разрушению в полном сознании, по жгучей песчинке, по клетке, необратимо и страшно.

Наверное, ни один преступник не раскаивался так в совершенном убийстве, как Ведерников раскаивался в спасении соседского мальчика Женечки Караваева.

Он, Ведерников, ничего такого на самом деле не хотел. Все, что говорили потом родители Караваевы, не отвязно наполнявшие больничную палату своим одышливым присутствием, все, что вещал дородный, зализанный набок чиновник, явившийся прямо во время врачебного обхода с медалькой и букетом бодреньких гвоздик, — все было чушь. Никаким героем Ведерников не был и подвига не совершил. С ним произошел несчастный случай: ноги понесли, как вот могут понести лошади. Его незабвенные, мускулистые, светлым солнечным пухом покрытые ноги, которые так хорошо и ладно ступали по сизому асфальту, в теплых и мутных майских сумерках, двадцатого числа.

Нет, на самом деле все было не так просто. Какое-то счастливое предвкушение будоражило Ведерникова в тот последний вечер. Он шел с тренировки, прерванной, казалось, на самом важном месте, и силовая паутина, его летательный орган, вдруг словно окрепла, у нее обозначился центр, которого Ведерников прежде не ощущал. Все чувства Ведерникова были обострены, все вокруг как бы обращалось к нему лично: и бледная, пухлая pena цветущих яблонь, и по одному, по два загоравшиеся окна, и восторженный визг железной качельки с маленьким, сложенным в виде зета седоком. Уже темнело, и небо было намного светлее земли: странное, похожее на очень старое зеркало, с желтизной в амальгаме и слепыми металлическими пятнами облаков — при этом совершенно ничего не отражавшее.

Все произошло помимо воли и сознания Ведерникова. Сперва он увидел выкатившийся на дорогу детский резиновый мяч, наполовину красный, наполовину зеленый, с ярко-белыми полосами по экватору; полосы мелькали, будто стрелки побежавших часов, все ускорялись

под уклон, не могли остановиться. Проехал, не задев беглеца, смешной горбатый автомобильчик, похожий на шляпу и управляемый дамой; сразу за тем на дорогу выскочил пацанчик-маломерок, с ушами как у обезьянки, в широких спадающих шортах, выскочил и побежал за мячом, растопырившись, точно ловил курицу.

В это время за ближним поворотом разомлевший в теплени светофор лениво переключился с зеленого на желтый, и водитель тяжеленного навороченного «хаммера», желая проскочить, нажал на газ.

В следующую секунду «хаммер», похожий, в своих никелированных трубах и жарких выхлопах, на небольшой химический завод, резко вывернулся из-за газетного киоска; фары его, махнув по автобусной остановке с застывшими, точно на сцене, людьми, залили спуск. Сильное электричество совершенно стерло пацанчика, превратило его в игру лучей, в оптический эффект, так что водитель, благообразный бородач, евший гамбургер из волосатого кулака, и не подумал тормозить. Вдруг пацанчик выпрямился, повернулся, и прямо перед «хаммером» возникла, будто кривое зеркальце, залитая светом добела детская физиономия. В этот момент Ведерников уже шагал по воздуху.

Это был великолепный прыжок, он стал бы рекордом среди юниоров, если бы каким-то чудом был засчитан. Как специально, дорожка для разбега — диагональная аллейка, пригласительно светлевшая между парковкой и путаницей кустов, — оказалась совершенно свободна. В самый центр силовой паутины словно ударил молоток, и паутина загудела наподобие гонга. Вот сейчас, понял Ведерников и, сосредоточенный на себе, абсолютно автономный и неуязвимый, пошел, пошел рассчитанным мощным разбегом, ощущил под пра-

вой толчковой доску отталкивания (измазанную глиной плаху на месте хронической аварии водопровода) и взлетел. Десятки зевак наблюдали, как тощий растрепанный парень сделал три огромных шага над раскопанными трубами и чахлым цветником, а потом сложился в воздухе и каким-то образом взмыл над остовом вросших в асфальт «жигулей», чтобы вытолкнуть ребенка из-под страшных колес. На самом деле эта ликующая половинка секунды, когда не только Ведерников, но и все окружающее словно застыло на весу, как бы в высшей точке взлета, в невероятно точном равновесии больших и малых частей, — она и была целью. Затем — жесткая посадка на асфальт, рев ободравшего колени пацанчика, близкий зеркальный оскал внедорожника, жаркий дух его раскаленного нутра, хруст, кипяток по нервам, темный провал.

На следующий день, пока Ведерников, тухо накачанный лекарствами, плавал в безвидной области, где не нужны никакие ноги, — сосредоточенный и страшный дядя Саня несколько раз промерил расстояние между затоптанной плахой и пятном сварившейся крови на проезжей части. Получалось, со всеми правками на приблизительность, минимально восемь метров тридцать сантиметров. Много часов потрясеный дядя Саня слонялся по кварталу, все никак не мог уйти от призрачного рекорда, оставить феномен на произвол реальности, все стирающей и все отменяющей. Потом он до самой ночи тупо сидел в тренерской, заастая землистой щетиной и глядя исподлобья на свой мобильный телефон, который жужжал и ползал по столу, будто муха, у которой оборвали крылья. Это дядя Сане пытались сообщить, что левую ступню спортсмена, к сожалению, тоже не удастся спасти.

* * *

Ведерников не сразу понял, что у него нет ног. Ноги как будто были, Ведерников даже мог пошевелить пальцами, отчего становилось щекотно и горячо, словно в песке на пляже. А то ему казалось, что он лежит в постели обутый, в каких-то громоздких, напитанных сыростью кроссовках, и было неудобно перед врачами, чьи лица светились над ним, будто молочные фонари.

Ведерников помнил, что его сбила машина. Но над ним белело все то же зеркальное небо, с желтизной и золотыми пятнами, а значит, до Европы оставалась еще бездна времени, хватит, чтобы восстановиться после травмы. На самом деле это был беленый потолок палаты с разводами протечки в углу, возле мокрой трубы. Бездна времени. Только когда часы и минуты перестали бежать со своим обычным членистоногим тиканьем, стало возможно ощутить, как эта бездна беспрепядельна. В палате почти всегда были люди — неясные, словно заключенные в мыльные пузыри, они плавно перетекали сами в себя и все как один улыбались Ведерникову радужными смутными улыбками. Немного позже он стал узнавать посетителей, правда, не всех. Он видел мать, ее короткую блондинистую стрижку словно из птичьего пера, ее узенькие стильные очки; видел дядю Саню, сгорбленного, с ярким бликом от окна на склоненной лысине. В тяжелой медикаментозной мгле, полной оптических иллюзий, посетители выглядели странно располневшими; иногда казалось, будто на них надето сразу по два, по три белых халата. Еще Ведерникову все время показывали ребенка, смотревшего исподлобья прозрачными глазами без ресниц, словно отлитыми из тяжелого стекла. Это был ка-